

# ТИТАЙ

## Рассказ

Впервые она увидела подарочную сумку в моем чемодане на седьмой день нашей совместной жизни, глазки ее едва заметно сверкнули, но она никак не проявила свое любопытство, как ни в чем не бывало занялась обычными бытовыми делами: готовила незнакомые, но весьма любопытные для моих вкусовых рецепторов блюда, прибиралась по дому, нежно и деликатно занималась со мной любовью. Чемодан так и оставался открытым; не помню, что я хотел в нем найти, нашел или нет, но заметив ее на мгновение вспыхнувший взгляд, я не убирал и не закрывал чемодан, он так и стоял на виду, хотя и в самом углу огромного, слегка неуютного номера. Только спустя неделю она наконец спросила, без слов, кивнув на яркую манящую сумку:

— Что это?

— Открой, — на ее молчаливые вопросы я всегда отвечал голосом, пытаюсь вывести ее из вечной таинственной замкнутости. К тому же я не силен в немых диалогах.

Она будто с опаской взяла пакет, в производственных документах эти сумки назывались «тиким», заглянула внутрь. Глаза ее снова блеснули.

— Можно? — продолжила она молчаливый допрос.

— Можно.

Запустив в «тик» маленькую смуглую руку, она извлекла оттуда набор аргановых масел, восстанавливающий крем для волос, боди лоушен, разного вида шампуни. Силеневую баночку с ароматной маской для волос она цепко притянула к груди.

— Подаришь?

— Зачем тебе? — удивился я. — Тебе точно не надо. — Я погладил ее черные густые, здоровые волосы. — Это просто смешно: ты и эта косметика.

— Но это самая дорогая косметика в мире, — на этот раз она произнесла фразу вслух, хотя и почти шепотом. Но я расслышал.

— Ну и что, что самая дорогая, разве тебе она нужна? У тебя все в полном порядке, — я знал, что я рассуждаю как банальный примитивный мужик и что по-настоящему у меня нет аргументов, способных воспрепятствовать ей завладеть этой баночкой. Да я и не возражал в глубине души, просто хотелось немного поиграть с ее вдруг пробудившейся страстью. На ресницах ее показались слезы.

— Бери, конечно, — быстро согласился я, — весь этот пакет твой.

Она улыбнулась мне благодарно, но весь набор отказалась брать наотрез, а приняла только полюбившуюся ей банку.

В эту ночь она была особенно ласкова и нежна со мной, доверчива, беззащитна.

---

Антон Николаевич Нечаев — поэт, писатель. Учился в Литературном институте имени Горького. Публикации в журналах «Воздух», «Вестник Европы», «Дети Ра», «Зеркало», «Ното legens», «Квадрига Аполлона», «Ликбез», «Литература», «Топос», «Нева», «Стороны света», «Плавучий мост» и др. Член Русского ПЕН-центра (2004–2016), с 2019-го в ПЕН-Москва.

То, что она обнаружила в моем чемодане, не было собственно заводским набором: продукцию в сумку набирал я сам, наобум, без всякого умысла: фирменный «тик» был гораздо скромнее. В последние месяцы моей работы на фабрике я стал воровать: тихонько, помногу и совершенно бессмысленно. Сам я почти ничем из украденных косметических лакомств не пользовался, кроме разве шампуней, а дарить и тем более продавать «моцарим» (продукцию) было некому да и незачем. Продавать и вовсе было рискованно, такие попытки уже случались: особо предприимчивые, но не слишком сведущие в подобных делах рабочие пытались толкнуть масла и кондиционеры в парикмахерские и салоны, создавали группы в соцсетях по продажам, но о подобных делишках быстро узнавала дирекция, и работника незамедлительно увольняли. Кое-кому грозили и лишением свободы. Мне же, бескорыстному и слишком доверчивому по природе, любая деятельность с коммерческим оттенком вовсе была чужда. Но воровал я масштабно, сумками, пакетами, десятками единиц, хотя и не вагонами. Потому что рутина. Унылый стрекот конвейера, отупляющие разговоры ни о чем из года в год, хмурые брови начальников. Планы, фантазии, когда-то в избытке копошившиеся в мозгу, постепенно угасали в мутном электрическом свете никогда не спящего цеха, лексика сузилась до трех-пяти оборотов пускай и на трех-пяти языках: принеси, подними, останови, запусти. Ничто не могло взволновать эту ровную мертвую однообразную поверхность, которую мы все почему-то считали жизнью. В каждом углу цеха, в коридорах, на улице за нами следили камеры, и стащить что-то представлялось довольно трудной задачей. Нужно было рассчитывать каждый шаг, каждый маневр, каждую секунду, ведь за нами почти неустанно следили. И даже при самом скрупулезном расчете риск попасться был очень велик. Из-за любого угла в любой момент мог вынырнуть старший («ахраи»), тебя мог увидеть невзначай проходящий мимо коллега, который без сомнения тут же побежал бы с докладом к директору, так принято действовать в этой стране в случае каких-либо нарушений со стороны ближнего твоего. Но... если быть осторожным, и следовать за звездой, и верить в свое вдохновение, то награда ожидает нешуточная: оживление всего организма как внутри, так и снаружи, бешеное возбуждение до конца дня, хороший настрой, бесшабашный юмор, уморительный флирт. Ощущение возвращающейся жизни, маленькой победы над обстоятельствами и собственного могущества. Внятное и читаемое ощущение себя самого как важного элемента мира, а не просто колесика под затертой конвейерной лентой. Но вероятнее всего, я просто хотел, как всякий грабитель, быть пойманным, хотел, чтоб меня уволили. Но меня не уволили.

Мои операции, так я их называл, совершались всегда в одиночку, без сообщников, и всегда завершались удачно. В отличие от, например, Олега, который забирал продукцию прямо из ящиков у всех на виду, со словами «Я из Советского Союза», я не могу иначе. И эти слова, и его бесстыдное поведение не вызывали симпатии ни у рабочих, ни тем более у начальства, которое, проведая от доносчиков о проделках Олега, тут же его выставило за дверь. Артур воровал товар с помощью дворника, в конце рабочего дня под видом мусора выносил пакет во двор и там прятал у мусорных баков, после чего возвращался в цех, дорабатывал, отбивался на проходной и в дворничком помещении запикивал пакет к себе в сумку. И дворник, и Артур — оба попались и были уволены. Ребята же без больших амбиций: Саша, Коля, Геннадий, Ицхак и другие изредка могли положить тюбик крема в карман в подарок жене или маме, и, как правило, такое умеренное заимствование сходило с рук. Как и мне мое неумеренное. Мама, однажды прибыв ко мне на неделю практически без вещей, домой возвращалась с багажом в двадцать пять килограммов: все — продукция нашей косметической фабрики. Впрочем, производитель не терпел никакого ущерба от нашей сдержанной клеп-

томании: излишки «моцарим» и так выливались в канализацию сотнями литров, малейший наружный брак («фасуль») уходил на свалку, рабочим никогда не доставалось ни баночки, ни тюбика, ни куска мыла в подарок.

Утомленная, она свернулась калачиком на краю кровати, обнажив худенькую девчачью спину, и засопела. Я хотел прикрыть ее простыней, но сдержался и так и остался лежать без сна, любуясь ее доверительной стройностью. За окном изредка вскрикивала неведомая местная птица, кромешную тьму разрезал яркий свет фонарей у отеля. Мне вспомнились первые полгода в той далекой стране, в которой я так опрометчиво оказался. Тогда еще не надо было работать: нас, новых репатриантов, поддерживали различные государственные программы, небольшое пособие регулярно поступало на счет, и если отсутствовала тяга к большим деньгам и излишествам, можно было вполне сносно прожить это время. Что я, ничтоже сумняшеся, и делал — проживал. Время, которое я для себя обозначил как время непрекращающихся вечеринок. Под сдержанный шум Средиземного моря, под насмешливый непристойный гогот мятущихся попугаев, в окружении летучих мышей, гирляндами свисающих с мрачных деревьев, десятки, сотни зверьков; по соседству с воем шакалов, всегда где-то рядом, в кустах, за скамейкой, у магазина, на кладбище, многочисленные и невидимые, они, не смотря на все уверения старожилов в том, что шакал неопасен, наводили невольный ужас на вновь прибывших, вынуждая лишний раз не высовываться из дому после двенадцати ночи, мы, я и мои друзья по языковой школе («ульпан»), регулярно отправлялись на берег, на скользкие громоздкие камни, в просторные беседки-ротонды, на темный выцветший пляж, где пили вино, заедая импортным сыром, произведенным на оставленной нами родине, местный сыр отвратителен, беседовали, смеялись, пели, влюблялись легкой курортной любовью, без решений и без последствий, понимая и всю скоротечность этого ученического периода нашей жизни, и то, что решения и последствия нас ждут впереди. Больше половины из нас вернутся назад, не только в сытые обеспеченные столицы, но и в те города, где воюют, предпочитают обстрелы и перебои с электроэнергией, а также другие всевозможные риски, которыми так щедро нас одаривает война, пребыванию в воображаемом надувном комфорте. Некоторые умрут, быстро, неотвратимо, так и не обнаружив достоинств в столь широко рекламируемой медицине, умрут от рака, от больничных инфекций, от врачебных ошибок, в конце концов, от собственной неготовности пребывать здесь. Остальные задержатся, кто-то — чтобы двинуться дальше, в Канаду, кто-то осядет по-настоящему, навсегда; ученые превратятся в водителей, бизнесмены в рабочих, офис-менеджеры пойдут драить полы, ухаживать за немощными стариками. Забавы ради я и некоторые мои товарищи, совершенно не разбираясь в специфике местного общества, да по-настоящему и не желая в ней разбираться, вступят в партию, в глубине души рассчитывая на хоть какой-то гешефт. Но для гешефта нужно много работать, хотя бы освоить язык, а на это никто из нас не был способен. Впрочем, ко мне работа пришла как раз через партию: руководитель нашего партийного отделения, сам в прошлом рабочий, как и почти все мужчины в этой стране, предложил мне то, что я так часто сейчас вспоминаю, — завод.

Я разглядываю ее нежные позвонки, хрупкие вытянутые лопатки, тело, состоящее сплошь из мягких округлых линий, будто готовое сплестись в замысловатое смуглое кружево, и помимо желания, умиления неожиданно чувствую к ней жестокость, непонятно откуда взявшееся желание сделать ей больно. «Завод», — стучит в моей голове, опускаются и поднимаются наливные краны («пейоты»), крутятся крышки, гро-

хочут насосы («машива»), взад и вперед снует автопогрузчик («мальгиза»), и ни крик экзотической птицы, ни аромат божественной девушки не могут окончательно вышибить из моих ушей, стереть с сетчатки навсегда отпечатавшиеся там громы и молнии бушующего производства. И вот в тропической буддистской ночи еще минуту назад волновавший, вызывавший истому изогнутый хребет девушки мне представляется скрюченной лентой конвейера, залитой хомером (вещество), в обломках пластика. Легкие в грудной клетке дышат, как крохотная машива, немного узкие ее бедра словно временно застывшая карусель конвейера: карусельщики отвлеклись, что-то исправляют в наклейках. И мне больше не хочется целовать эту плоть, не хочется, чтоб она ко мне прикасалась; в руках, в скрученной судорогой мускулатуре, даже где-то в глубине живота вызревает желание измять это мягкое тело, расплющить его, как консервную банку, сковать его, обездвижить, пустить кровь. Возможно, это только проявление страсти, но меня пугает сам его тон, его надменный нечеловеческий императив. И я поворачиваюсь на другой бок, чтобы избежать этого злобного искушения.

Я купил ее в первый же день, как поселился в гостинице. Она стояла на полупустой парковке вместе с отцом, по крайней мере, так он представился. Я заселился в номер, оформил на ресепшене документы, выпил плохого американо в баре, а они все стояли на солнцепеке, почти не шевелясь. Взят кое-какую мелочь, телефон и сумку через плечо, я отправился изучать окрестность.

— Мистер, не хотите ли девушку? — услышал я, когда проходил мимо них. На ресепшене мне уже предлагали девицу, и как только я вошел в номер, я получил аналогичное предложение по телефону, но и в первом и во втором случае отказался, вежливо обещав, что подумаю. А здесь... Они чудные какие-то, не шевелясь стоят, по-видимому, не один час на жаре, даже не разговаривают. Оба в чистой одежде, и лица до странности чистые. Я обернулся. Мужчина продолжил:

— Это моя дочь, — он назвал имя, но оно тут же улетучилось у меня из головы, — она хорошая девушка и сделает все, что вы захотите.

— Сколько? — скорее из желания ознакомиться с ценами на этом рынке, чем из реальной потребности, спросил я.

Он назвал цену, как мне показалось, непомерно высокую. Я с сомнением оглядел деву. Маленькая, смуглая, нестрашная, но и не ошеломительная красавица, вполне себе ничего. Но точно ли она девушка? Я незамедлительно выразил ему свои сомнения.

— Она девушка, не беспокойтесь. Если желаете, сейчас же можете ее осмотреть. А цена?.. Вряд ли вы дешевле найдете.

Я задумался. Девица, в общем-то, недурна, да и не похоже, что торговец обманывает, но цена уж слишком раздута.

— Не сомневайтесь, мой господин, девчонка очень хорошая, чистая, нетронутая. А деньги все сразу и не надо платить, половину сейчас, половину через месяц.

— Месяц? — опешил я. — Почему месяц?

— Никто сразу всю сумму не платит, боятся, что мы заберем деньги, а девчонка сбежит. Хотя мы так никогда не поступаем, мы честный народ.

— Так эта оплата за месяц? — по-прежнему не веря своим ушам, уточнил я.

— Да, это за месяц. Вы можете взять ее на год или на полгода, это будет для вас дешевле, в пересчете на дни.

— Хорошо, я ее возьму, но мне надо будет ее проверить.

Втроем мы поднялись ко мне в номер. Проходя мимо ресепшена, отец поздоровался с девушкой-администратором, та в ответ ему кивнула, как мне показалось с почтением.

В номере я приказал девчонке раздеться, что та, торопясь, и исполнила. Что конкретно смотреть и как проверять, я не имел ни малейшего представления. Я начал медленно, сантиметр за сантиметром ее ошупывать, выискивая подозрительные детали, тщательно изучал ее мускулатуру, ширину бедер, искал характерные волоски, засунул пальцы в вагину (что я там ожидал увидеть — спрятанный член?), но так и не нашел ничего, что бы вызвало мое беспокойство. Девчонка была вполне женственна. Отец равнодушно наблюдал за всей процедурой.

— Адамово яблоко, — неожиданно проговорил он.

Я уставился на него вопросительно.

— Адамово яблоко, — он показал на свою шею, а потом крепко и нежно схватился за голову сидевшей на полу обнаженной девочки и повернул ее лицом вверх. — У нее нету. Адамово яблоко нельзя скрыть.

Я невольно пощупал свой, слегка вспотевший кадык, посмотрел на ее гладкую шею.

— Ладно, беру, — наконец согласился я, подумав, что при любом раскладе почти ничего не теряю, разве что деньги, для меня совсем небольшие. — Половина суммы?

Мужчина кивнул. Я отсчитал ему требуемое.

— А она в принципе разговаривает? — снова засомневался я. Девушка за все время не издала ни звука. — Мне не нужна немая.

— Конечно! — чуть ли не возмущенно промолвил отец. — Говорит, и очень хорошо говорит. Английский, французский, китайский.

— Китайский мне без надобности, а вот английский бы разговорный мне подтянуть не мешало. Будет она со мной разговаривать?

— Будет, будет, — заверил меня папаша, — скромна только очень, молоденькая она совсем. Привыкнет к тебе и заговорит. Наши девушки, знаешь, лучшие в мире, они самые преданные и самые нежные. Ты не пожалеешь, поверь мне.

— Посмотрим, — пробурчал я, протягивая ему купюры. — Как ее имя, я не расслышал?

Он назвал ее имя, и я снова не смог его разобрать. Прозвучало что-то похожее на Титай.

— Я буду звать ее Титай, можно?

— Конечно, можно, — согласился отец. Я посмотрел на девушку, она молча кивнула.

Я вышел вместе с отцом в лобби отеля и минут пять постоял у окна, глядя, как он удаляется, слегка потускневший, понурый, как мне показалось.

— Ты его знаешь? — спросил я у девчонки-администраторши.

— О да, конечно, — она отвечала охотно, — мистер, — она назвала имя, которое невозможно ни запомнить, ни воспроизвести без специальной подготовки, — из нашей деревни, очень хороший человек, очень уважаемый, учитель, долгое время работал в школе. У него много дочерей, и они у него замечательные, а, — снова прозвучало имя, похожее на Титай, — из них лучшая: скромная, работающая и покорная. Вы сделали правильный выбор.

Я ответил рассеянным кивком и вернулся в номер. Титай сидела на кровати в той же позе, в какой мы ее оставили. После осмотра она успела одеться и теперь с отрешенным видом разглядывала пальцы ног, кстати, довольно изящные. Я запер дверь и сел перед ней на пол. Она мягко на меня посмотрела. Я взглянул на нее, стараясь, как мне казалось, сделать взгляд непроницаемым и суровым, давая ей понять, что перед ней мужик-доминант, настоящий мачо, хозяин. Кажется, ее это мало тронуло, глаза ее по-прежнему оставались мягкими, слегка влажными и все принимающими. Почему-то у меня зачесался подбородок. И шея. Внезапно я понял, что я не знаю, что с ней делать. Первым порывом мне захотелось броситься за ее отцом вдогонку и по-

просить отменить сделку. Но такой поступок показался бы и мне, и в гораздо большей степени отцу и его дочери, и даже администратору в отеле позорной слабостью. И я сдержался.

— Титай, — позвал я ее.

Она вскинула голову, как крохотный дрессированный пони.

— Я только сегодня приехал. Мы, конечно, поедим в ресторане в отеле или еще где-то, ты же знаешь здесь хорошие заведения?

Она кивнула.

— Но все же и в доме должна быть какая-то еда, понимаешь? Сходи сейчас в магазин, купи все, что считаешь нужным, о'кей?

Она снова кивнула. Я поднялся с пола, достал бумажник, отсчитал ей немного денег.

— Вот, держи.

Она приняла купюры и слегка поклонилась.

— Не надо благодарить, — остановил ее я, — это в наш общий дом, и мне, и тебе, хорошо?

Она снова послушно кивнула.

— А теперь иди.

Титай исчезла за дверью, а я, неожиданно почувствовав усталость, бросился на кровать, надеясь вздремнуть немного, надеясь, что она не вернется.

На завод проникнуть постороннему невозможно, резюме следует оставлять на проходной и дальше ждать, когда тебе позвонят и пригласят на собеседование. Я запасся десятком распечатанных резюме («корот хаим»), планируя выбрать день или несколько дней, чтобы прогуляться по промзоне, оставляя свое жизнеописание потенциальным работодателям. Но с рекомендацией партийного босса необходимость в такой прогулке отпала. Тем не менее месяц я ждал звонка из отдела кадров, и когда уже почти перестал ждать, мне позвонила бойкая сотрудница заводского офиса и скороговоркой, как и все они здесь, пригласила приехать, причем, о смысле сказанного я скорее догадался, так как из ее быстрой двадцатисекундной речи не понял ни слова. Я отправился на автовокзал, где загрузился в автобус, как водится, полупустой и прохладный, и отправился в соседний городок, где, собственно, и располагалась фабрика.

Проехав минут пятнадцать по оживленной трассе, автобус свернул в арабские кфары (деревни), состоящие из каменных, громоздких домов, часто окруженных оливковыми рощами. Машина рывками двигалась в узких улицах, периодически останавливаясь, когда водитель встречал знакомого. Затевался насыщенный, перебивчивый разговор, приправленный сверхэмоциональными междометиями. Спустя время автобус снова возвращался к движению, неторопливо полз в гору, открывая дремлющим пассажирам типичный ближневосточный пейзаж: поросшие зеленью, частые, словно волны, холмы, тут и там разбросанные деревни, сады кибуцев, руины заброшенных зданий, средневековые крепости вдалеке. Было раннее утро. В одном из кибуцных садов сейчас орудует братия наших непрекращающихся вечеринок, банда ульпана — так мы сами себя называли. Пронырливые москвичи первыми обнаружили на окраине города сады авокадо с вкраплениями мандариновых, грейпфрутовых, гранатовых и оливковых рощ, принадлежащие одному из многочисленных кибуцев в округе. В выходной, когда нет рабочих, с сумками, пакетами, рюкзаками, кто пешком, а кто на велосипедах, мы пробирались в эти тайные, спрятавшиеся за домами, манящие островки жизни, проводя там часы в сборе вкуснейших фруктов, каких не купить ни в одном магазине, кибуц работал на экспорт, изредка устраивали пикники, просто гуляли по тропкам авокадовой рощи под шуршание сочных темно-зеленых листьев.

Иногда нам встречался задумчивый любитель спортивного бега, погруженный в анализ своих физических достижений, или догситтер выводил своих полоумных питомцев на утреннюю прогулку; на краю небольшого оврага арабки собирали неведомую траву. Сквозь сады проходил акведук, построенный Сулейман-пашой, краткая история акведука излагалась на мемориальной табличке, установленной между оврагом и гранатовой рощей. «Зачем там табличка, ведь ее никто не читает? — недоумевал я. — Ни бегуну, ни собакам, ни арабкам, ни нам это неинтересно». Но именно от таблички начинались все наши изыскательные маршруты.

Я специально проехал промзону и вышел в самом центре еще спящего городка, чтоб изучить окрестность. Прогулялся по крутым улицам, сбегаящим по склону холма к трассе. На густо усаженных кустарником тротуарах, кроме нескольких пьяных, не встретил ни одного человека. Городок считается негласной столицей выходцев из Индии, но среди пьяных — никого похожего на индуса. «Все на заводах», — справедливо размыслил я.

Впоследствии у меня появится приятель куки, части представителей именно этого индийского народа позволено репатриироваться высшими раввинатскими инстанциями. Религиозный, старательный, деликатный, говорящий на восьми языках Азалия, всегда в кипе, мало пьющий, в долгие часы совместной работы за конвейером рассказавший мне историю своего народа: о бесконечных стычках с соседним Номалендом, о давнем стремлении к единству и независимости и о самой большой гордости каждого куки — двухлетнем военном противостоянии англичанам, случившемся век назад. Именно поэтому, говорил Азалия, англичане, покидая Индостан, разделили единый народ куки между тремя государствами: Индией, Непалом и Мьянмой. Именно поэтому во время мировой войны куки выступили на стороне Японии.

На шабат около часу дня на последнем автобусе Азалия приезжал ко мне в гости, мы брали омерзительную кошерную водку и отправлялись на берег моря, где беседовали под говор волн о затейливых пируэтах истории мира. Однажды во время работы Азалия, получив срочное сообщение, вышел из цеха: разговаривать по телефону в цеху запрещалось. И несмотря на то, что он действовал по инструкции, начальник написал на него докладную за использование телефона в рабочее время. Азалия был уволен. А спустя неделю он приехал ко мне: удрученный, поникший. Не из-за увольнения, а впрочем, из-за него: ведь именно из-за того, что его с позором уволили, с ним перестала спать жена.

— А я не могу, понимаешь, мне надо, мне постоянно надо, — бурчал тихонько пятидесятилетний куки.

— Я слышал, где-то поблизости есть хорошие девочки («бахурот»). Поможешь мне их найти? — выпалил наконец Азалия свой план.

И мы отправились на поиски девочек. Сначала на берегу под противную водку, которую Азалия почти и не пил, мы исследовали объявления в Интернете, но ничего поблизости не нашли. Потом направились к стоянке такси у вокзала, где, перейдя для конспирации на английский, хотя в наших малюсеньких городишках подобные ухищрения не имеют смысла: все прекрасно знают друг друга в лицо, попытались навести справки, которые (справки) нам сообщили, что нужные нам заведения в избытке есть в Хайфе, куда мы, наняв такси, и поехали. В машине мы продолжали изображать из себя заскучавших туристов, периодически обмениваясь простейшими репликами. Я, вдруг приняв на себя роль местного жителя, попытался рассказать своему другу, бизнесмену из Азии, именно такую роль я отвел Азалии, историю акведука Сулейман-паши, как раз пробежавшего с левой стороны трассы, но запутался в английских временных формах. Однако водитель принял нашу игру и на очень приличном английском подхватил мой рассказ. До самого конца поездки мы с Азалией слушали его

речь, пляясь в окошки каждый со своей стороны, именно с его стороны пролетал акведук, а с моей — бахайские сады Акко, ограждение вдоль железной дороги и море.

В Хайфе на центральной станции нам указали на ближайшее кафе, где бармен, по уверениям таксистов, знал всех доступных «бахурот» в городе. Но за стойкой в тот день работала девушка Ривка, которая с трудом поняла, что нам нужно, но помочь не смогла: она не знала о «бахурот» ничего. Мы вернулись на центральный вокзал, где нашли все же сведущего в амурных делах подобного рода таксиста, который отвез нас в район предыдущей станции, долго петлял под мостами, путал развязки и наконец высадил нас у типичного для местной застройки здания, более похожего на руину времен арабо-израильского конфликта. Азалия расплатился.

— Ты со мной?

Я отрицательно мотнул головой.

— Я подожду.

Азалия бодро ринулся к ржавой железной двери, которая захлопнулась за ним с грохотом. Такси уехало. Я остался стоять на искореженном временем тротуаре, по дороге несся буйный поток машин, окрестные магазинчики были уже закрыты: наступил шабат. «А проститутки в шабат работают? — вдруг пронеслось у меня в голове. — Не зря ли мы столько ездили?»

Через сорок минут железная дверь лязгнула, появился Азалия. Судя по его виду, все получилось. Азалия глянул на часы в телефоне.

— Железнодорожная станция совсем рядом, — быстро проговорил он, — мы еще успеваем на последний поезд.

Мы прибавили ходу и через десять минут уже сидели в вагоне.

— Как было? — поинтересовался я скорее из вежливости.

Азалия кивнул:

— Превосходно.

— Как ее звали-то хоть? Как она назвалась?

Азалия пожал плечами:

— Наташка. Их всех зовут одинаково.

Я все-таки задремал. Проснулся от деликатного, но настойчивого шороха магазинных пакетов. На миг мне показалось, что вернулась моя жена, которая обожала шуршать пакетами, хотя я объяснял ей в течение двадцати лет, как мне этот шорох мешает. Но это была Титай. Она разворачивала покупки: неизвестные мне продукты, овощи, склянки с разнообразными соусами. Я следил за ее действиями полузакрытым глазом, еще не отойдя ото сна. Другой глаз пока еще спал.

— Алкоголь? — вдруг пришло мне на ум спросить.

Титай кивнула и вытащила бутылку местного дешевого виски.

Я взял бутылку, повертел ее с разных сторон.

— Это можно пить? — недоверчиво поинтересовался я.

Титай кивнула.

— Это хорошее, — тихо произнесла она.

Я откупорил зелье, понюхал: пахло недурно.

— Принеси мне стакан, пожалуйста. Мне и себе.

Она принесла два стакана, я разлил напиток: себе побольше, ей поменьше, протянул стакан ей. Она отрицательно помотала головой.

— Я не буду. Пригублю только.

Я не стал спорить, отхлебнул изрядный глоток из своего стакана, горло и внутренности обожгло. Тепло и приятно. Титай завозилась с закусками, ее маленькая фигурка мелькала в огромной комнате, как смуглый озорной мотылек.

— Есть что-нибудь европейское?

Она глянула на меня вопросительно.

— Сыр, например?

Титай закивала и достала из пакета кусок чего-то оранжевого.

— Сейчас нарежу, — одними глазами сообщила она.

Я пил виски и заедал этим странным горьким оранжевым сыром, постепенно отключаясь от всяких планов, ожиданий, намерений. Титай тихонько присела на край кровати.

— Поешь чего-нибудь, ты же голодная, — дотронулся я до ее руки. Она не отняла руку, не напряглась и не вздрогнула, напротив, я ощутил в ней мягкое трепетное приятие.

— Скоро пора спать, нехорошо спать голодным, — я снова дотронулся до нее, и она осторожно взяла с тарелки кусочек чего-то зеленого, нарезанного на дольки. Местный диковинный фрукт. Меня опять потянуло в сон, я откинулся на подушку, попросил Титай выключить свет. В кромешной тьме я разделся и лежал голый на одеяле, девушка аккуратно прилегла рядом. Так мы лежали довольно долго, не произнося ни слова, слушая далекий шум моря. Я потянулся, закинул руки за голову. Во мне не было ни желаний, ни страсти, ни любопытства. Я чувствовал, что я мертв. Сердце билось, и грудь дышала, но все, что ниже пупка, было мертво, заморожено, только усталость в ногах, в стопах позволяла предполагать, что эти части моего тела еще существуют. «Мы можем и так пожить месяц, ничего не предпринимая. Вдвоем все равно веселее. Хотя она и молчунья, но когда-нибудь она мне доверится, разговорится, и я хотя бы подтяну свой английский, который совсем никуда не годен», — размышлял я, лежа на спине и вслушиваясь в дыхание девушки рядом, пытаюсь понять, спит она или нет.

На заводе меня не ждали. Охранник долго созванивался с офисом («мисрад»), тщательно проверял мой паспорт («теудат зеут»). После двадцати минут переговоров меня впустили, охранник небрежной отмашкой указал, куда двигаться. Поплутав по территории, несколько раз чуть не угодив под носящиеся взад-вперед мальгизы, я добрел наконец до офиса. В одном из кресел сидел скрюченный в три погибели пожилой мужчина, явно ожидая приема. Я бухнулся в кресло рядом.

— Тоже устраиваться? — попытался я начать разговор.

Мужчина лишь глянул в ответ блеклым взглядом и ничего не сказал. Я тихонько пожал плечами: «Что ж, подождем в тишине».

Ждать пришлось шесть часов: у начальницы отдела кадров гостила какая-то делегация. Мужчина точно так же, не разгибаясь, периодически выползал покурить. Во дворе неуклюже ворочались грузовики («масаит»), мальгизы продолжали свои безостановочные метания, несколько человек прикрепляли к зданию офиса растяжку с праздничной надписью, которую я так и не перевел. Звучала ивритская, русская, арабская речь. В мисраде было прохладно, отменно работал мазган («кондиционер»), стены мисрада украшали сувенирные тарелки со всех стран мира, сотни тарелок. По коридорам, не замечая вокруг никого, шастали надушенные девицы. Здесь в ходу был только один язык — иврит.

Меня вызвали первым. Как только я приподнялся с кресла, лицо моего соседа исказилось гримасой боли. Мне стало неловко. «Может быть, сначала его пропустим?» — робко предложил я. Но пригласившая меня в кабинет девочка-переводчик лишь брезгливо поморщилась: «Не беспокойся о нем, это наш рабочий, он просит перевода».

в другой цех из-за болезни спины, полгода уже канючит. Его все равно не примут, зря ждет. У него рекомендаций от врачей не хватает».

Потом было собеседование, улыбчивое и небрежное: дата рождения, профессия (прочерк), язык (прочерк), долгое оформление документов через смартфон. Коротким звонком вызвали начальника цеха Сашу, который быстро познакомил меня с производством. В полутемных помещениях сидели молчаливые люди, мрачно наблюдая за скорым бегом бутылок по ленте конвейера («кав»). Кто-то драил полы после мойки машины, в углу работали небольшие разливные агрегаты («глида»), за которыми трудилась самая разношерстная компания: русские, друзья, арабы; мужчины и женщины. Уборщик катал по цеху поломочную машину («рубик»), дыша полувековым перегаром. В дальнем конце цеха бригада сносила стену: пыль и бетонная крошка вовсю сыпались в бегущие по «каву» открытые банки с восстанавливающей маской для волос. Человек двадцать рабочих сосредоточенно лепили наклейки на банки с уже готовой продукцией, пряча состав, в котором фигурировали вещества, с недавнего времени запрещенные в Евросоюзе: лауретсульфаты и парабены, вызывающие рак. Сидя на шатких пластиковых стульях, погруженные в телефоны, за рабочим процессом следили расслабленные ахраи; в цеху их за глаза называли капо. При появлении начальства телефоны исчезли, в рядах ответственных произошло движение: они поднялись, потянулись, дружно зевнули.

Временами цех просыпался, шумел буйными истеричными голосами, гремела непонятно откуда взявшаяся индийская, арабская, еврейская музыка, стиль мизрахи с характерными завываниями, оглушая, убивая остатки сознания. Молодежь немедленно начинала плясать, пятидесятилетние старики рабочие недовольно морщились, но помалкивали. Музыка должна была поднимать настроение, а значит, в конечном счете и производительность, сплачивать коллектив, а может быть, просто разгонять сон и дурные мысли, которые при существующих запретах на разговоры не о работе, на телефонные звонки, на сидение на стульях, даже на прослушивание языковых уроков в наушниках неизбежно должны были появиться.

В качестве тренировки меня поставили закручивать литровый кондиционер, заказ («пака») на десять тысяч бутылок. Вместе со мною работали школьник и девчонка-арабка, тоже все новички. К концу первого часа работы у нас троих пальцы были в крови, человек, стоящий на подаче («азана»), пыхтел и потел, бутылки на ленте толкались и падали, спеша к наливным кранам; если кран не попадал в горлышко, что случалось довольно часто, хомер вытекал на ленту, заливал машину и пол, и вся команда, схватив мусорный бак («пах») и бумагу, судорожно принималась размазывать кондиционер по машине, по полу, пряча следы аварии. Бок о бок с нами в цеху трудились учитель математики, профессиональный танцор, несколько бизнесменов, саксофонист, графический дизайнер, художник-оформитель, филолог-украинист. Для всех нас это был первый завод в нашей жизни.

В будний день выбраться из города не составляло особой проблемы: круглосуточно курсировали поезда на юг, ходили автобусы. Но в единственный выходной общественный транспорт работу приостанавливал, закрывались вокзалы, даже до аэропорта добраться было непросто, хотя самолеты летали. И если вдруг накатывало желание хоть на часок избавиться от гнета однообразия, выбраться из повседневной рулонной рутины, для не имеющих личного автомобиля выход существовал один: маршрутное такси, постоянно дежурившее на тремпе. Маленькие желтые микроавтобусы в ожидании клиентов кемарили у обочины, водители-арабы курили душевные сигареты, ведя непрерывные беседы друг с другом. Когда микроавтобус набивался под завязку, води-

тель, будто нехотя, трогался с места. Маршрут был только один — Акко—Крайоты—Хайфа. Крепость госпитальеров, жирные арабские парни, зазывающие туристов прокатиться к скалам на утлом суденышке, рыбные рестораны, хумус, маслины, длинная полоса пляжа и тяжелый запах арабских духов над водой, затеняющий средиземноморскую свежесть, — на этом прелесть и настроение Акко заканчивается. Однотипная запущенная блочная застройка Крайот, городки, перетекающие один в другой, неотличимые и чумазные, словно многочисленные дети нищей несчастной матери. Чаще всего я выходил в Хайфе, спускался к побережью, смотрел на прибывающие теплоходы, бродил по нижнему городу, по Дерех Яффо, среди пустоглазых домов-привидений, чьих хозяев семьдесят лет назад изгнали вдруг ниоткуда явившиеся их младшие братья. Прилизанная немецкая колония с вечной толпой в кафе, неприступный забор храма Бахаи меня почти не прельщали. Подъемы и спуски, улицы-лестницы, монастырь кармелиток и глубокий сон древней горы Кармель, шуршащие мусором кабаны, тень Ильи-пророка за каждым углом и спивающиеся славяне, требующие у прохожих копейку, — среди этого великолепного разложения я проводил десятки, сотни часов от автобуса до автобуса, часто с бутылкой вина, гуляя, считая шаги, почти не присаживаясь. Зимой дождь принуждал укрываться в магазинчиках, в ресторанах; летом, избегая жары, я просиживал в парках, в тени старых смоков на Адаре. В любую погоду, в любое время дня или ночи куда-то спешил народ, черные, белые, желтые, красные, смуглые, раскосые, яркие, стертые люди, трещина на сотне наречий, маленький Вавилон, торопились вершить свои обычные человечьи дела: совершать покупки, продавать услуги, спорить, ездить, мечтать. И я мечтал вместе с ними, мечтал и о них, что я стану их частью, заживу их эмоцией, их настроением, поспешу куда-то, сам не зная куда, в жизнь мою войдет их прилипчивый интерес к деньгам, к обогащению как к цели и как к процессу; любовь превратится в секс, в нечто осязаемое, понятное и прагматичное, как типовой договор, скачанный из Интернета, с прописанными обязанностями сторон, реквизитами, гарантийными чеками. Придет и карьера, в качестве кого и в каком направлении, я не задумывался, само слово «карьера» в приложении ко мне уже звучало новаторски, необычно, рискованно, но в конце концов не слишком воодушевляюще. Дух не захватывало. Робкое желание проскальзывало *ad marginem*, но дух молчал.

Впоследствии, довольно скоро маршрутные такси разорились, пропала единственная возможность выбраться из города в выходные. Я не расстроился, просто затосковал. Город окончательно превратился в тюрьму.

На заводе меня неожиданно почти сразу назначили управлять машиной. Не знаю, чем я заслужил такое доверие: в первую неделю я ломал все, к чему прикасался. Когда Ишай попросил Гену выкрутить до упора вентиль на наливных кранах, я вызвался помочь и крутил, крутил, пока не сорвал страховочную шайбу, и вся огромная тяжеленная стальная бухна со шлангами рухнула, разорвав бутылки, пролив хомер и повредив ленту конвейера. На мгновение в гремящем и гудящем цеху воцарилась гробовая тишина.

— Клянусь, в жизни не видел ничего подобного, — выдавил из себя онемевший на долю секунды Ишай и тут же начал звонить в технический отдел. Ребята из технического отдела, прибыв через полчаса, так же немом уставились на груды хомера, пластика и железа. Меня потихоньку убрали на «глиду», куда отправляли, как правило, проштрафившихся или кого попало.

На следующий день, готовя «глиду» к выработке очередной партии, во время мойки я по чистой случайности нажал одновременно все три кнопки управления. Казалось бы, ничего страшного не должно было произойти. Но произошло: «глида» переста-

ла работать. Технический отдел, прибыв через сорок минут и не глядя в мою сторону, забрал машину в ремонт. Больше мы ее никогда не увидели.

И вот я сижу в крутящемся кресле, мягком, удобном, хотя и немного расшатанном, и наблюдаю, как ровными рядами текут бутылки с аргановым маслом к карусели, где ребята-арабы собирают их в ящики, ящики складывают на поддоны, а поддоны увозят на склад. Про настройку машины пока и речь не ведется, но я уже управляю, а это немало. Лента скрипит и скрежещет, машина старая, собранная наспех местными умельцами из имевших в наличии разрозненных запчастей, найденных на свалках и купленных за бесценок у разорившихся конкурентов. Но как-то она работает. Масло льется куда попало, бутылки падают, бойко звенит стекло, где-то что-то идет не так, но где именно, мне не дано догадаться, ведь объяснять здесь не принято, ты должен до всего доходить сам, и неважно, что у тебя всего-навсего вторая неделя работы и заводы до этого ты видел только по телевизору.

— Ты пидор, гнойное говно, — это голос Саши из наблюдательной голубятни, из офиса. — Ты зачем вообще к нам приехал, если работать не хочешь, хочешь получать деньги и ничего не делать? Следи за конвейером.

— Сам ты такой, — говорю я тихо, громко отвечая в соответствующем тоне мне еще предстоит научиться. А отвечать надо, а то затрут, затопчут, я это понимаю прекрасно. Но мне сложно реагировать быстро, я тугодум, и к неприятностям предпочитаю быть готовым заранее, а с Сашей они, как и он сам, всегда появляются ниоткуда.

Ругань, крик, оскорбления в адрес рабочих — норма. Вежливость, уважение, элементарная корректность не известны ни на производстве, ни вообще в этой стране. Кто громче, тот и прав. Кто агрессивнее, тот и продвигается. Если ты не можешь ответить, бубнишь, мнешься — ты слабак и место твое на «глиде». Ты можешь закладывать своих товарищей, сообщать о мельчайших нарушениях в цеху, кто-то не вовремя снял халат, кто-то работал минуту без шапочки, здоровенный киевлянин Серега по ошибке в ночную смену, не разобравшись в правилах, съел чужую шаверму, и к нему уже летит на крыльях гнева и ненависти Саша, на ходу брызжа слюной обвинений:

— Ты тварь, ты специально устроился к нам на завод, чтоб чужую шаверму жрать?

И огромный Серега бубнит, потеет, краснеет перед поносящим его последними словами карликом, извиняется, но он не будет прощен, он навеки станет для Саши прожорливым вором.

— В Украине мы бы на второй день его грохнули, — мрачно глядя на Сашу, произносит Степан, бывший спецназовец. А здесь... Здесь нельзя: за любым, самым невинным рукоприкладством, подчас нормальным между мужчинами, последует немедленное расследование и почти наверняка уголовный срок. А уж увольнение — несомненно. И очень просто: утром ты приходишь на работу, чаще всего ни о чем не подозревая, на проходной тебе вручают стандартное увольнительное письмо, в котором нет ни намека на причину твоего увольнения, и больше ты на работу не попадаешь. Можно начинать поиски нового предприятия, которое согласится тебя нанять. И если тебе больше пятидесяти, таких предприятий будет немного.

На второй моей съемной квартире до меня жила Ленка, веселая, шумная, открытая всем ветрам блондинка. Русские, а все выходцы из СНГ считаются русскими, в представлении местных, воняют, «вонючий русский» — это устойчивое выражение. А русские женщины — обязательно проститутки. Соседи Ленку вечно бранили, обзывали в глаза потаскухой и без причины по несколько раз в неделю вызывали полицию. А Лен-

ка, не умея ответить, замыкалась в себе, плакала тихонько у себя в тесной квартирке на втором этаже, безропотно слушая, как соседи на первом двигают мебель в час ночи в святой для них день шабат.

Я думал, что бы я предпринял, как бы я боролся с этим соседским гнетом, сочинял точные и хлесткие фразы, убийственные метафоры. Ленка в конце концов съехала, оказалась вообще от этой страны, от работы уборщицей и сиделкой, горничной в отеле и продавщицей в супермаркете, устав от бесконечных домогательств похотливых, ни на что не годящихся стариков, мелких нервничающих придирок их родственников и работодателей, вернулась в Донецк, где она спустя время погибнет от одного из многих снарядов, уничтожающих этот город. Но пока она жива и съезжает, а я из-за нежелания связываться с маклерами или что-то искать самому, занимаю ее квартиру, с помощью друзей переносю вещи, работаем мы, как водится, в шабат, в единственный разрешенный нам выходной. И неугомонный сосед снизу тут как тут со своей обычной претензией:

— Вы не имеете права работать в шабат, — он высказывает, — гой проклятые. Вы мешаєте нам праздновать наш святой праздник.

— Скажи это арабам, если ты смелый такой, — отвечаю ему я давно заготовленной фразой, — сейчас, секундочку. Эй, Абдалла! — зову я воображаемого приятеля. Сосед в тот же миг скрывается за дверь, слышится лягз закрываемых в спешке замков.

Вечерами бульвар полон людей, в узких дорогах толкуются машины, беспрерывно сигналивая, громоздкие автобусы, медленно, неуклюже лавируя, движутся, замирая у остановок. На тротуарах полно инвалидов, беспомощных всех мастей: в колясках, с ходунками («алахон»), в сопровождении соцработника или родственников. Им все должно, они постоянно требуют твоего внимания, помощи. «Дай воды!» — орет прохожему бабка в беседке, в окружении молодых девушек, по-видимому внучек. «Подтолкни коляску!» — кричит другая, хотя позади ее кресла минимум трое здоровых мужчин прекрасно справляются. Третья, по виду лет девяносто, у магазина выясняет цену шуруповертов, разглагольствуя при этом на весь бульвар. Группа немощных стариков в кафе зашла в нервном тике, обсуждая прошедшие выборы: к дискуссии привлекается всякий случайный встречный. У моря грохочет музыка, заведения на набережной зажигают огни, открывают сезон; с инструментами в руках по кафе разбредаются русские музыканты, ловя хоть малейший заработок. Пары робко танцуют в темных уголках берега, с опаской поглядывая на внушительную толпу любителей синхронных танцев, уже занявших главную площадь, готовых начать свой саламандровый ритуал. Вечер субботы, а значит, через пару часов состоится розыгрыш лотереи, и у ларьков с билетами нервная очередь, преимущественно мужчины, они скупают билеты десятками, хотя билеты недешевы, стоимость одного — это скромный, но полноценный ужин, но они не жалеют средств, богиня иллюзии требует подношений, манит возможностью подняться над обстоятельствами, обрести кажущуюся независимость, но здесь богиня честна: в углу билетика мелким шрифтом обозначены твои шансы на главный приз: один к полутору миллионам.

Мы: я со своей женой и захвативший к нам на неделю в гости Артур — катим в экскурсионном автобусе на Мертвое море. Автобус заворачивает в маленькие городки, собирая людей, оплативших эту поездку; мы сонные, в автобусе мы с четырех утра.

Я не хотел, чтоб Артур приезжал, опасался, что его остановят в аэропорту на границе, задержат, депортируют. Одинокий мужчина, еще не старый — пограничники к таким всегда особо внимательны. Если захочет остаться, перейдет на нелегальное по-

ложение, начнет конкурировать с аборигенами за рабочие места, которых и так в стране не хватает. В случае малейшего подозрения его могут держать неделями в заключении, в условиях, максимально приближенных к тюремным. Как я смогу его вытащить? Но Артур уговорил выслать ему приглашение, обещав, что не расстроится и не обидится на меня, если мои опасения сбудутся.

Несмотря на официальное приглашение, в котором указаны мой номер паспорта, телефон и домашний адрес, Артура держали на границе двенадцать часов, периодически допрашивая, потом, будто нарочито, о нем забывая и снова возвращая к допросам. Но все-таки его пропустили, в отличие от многих других. И теперь мы катим по территориям, приближаясь к центру Земли со скоростью девяносто километров в час, словно погружаемся в землю, серую, желтую, песчаную, глиняную, древнюю, дикую, страстную, красную от пролитой за нее крови. По мере удаления в глубь территорий цивилизация все меньше заметна. Кроме песка, камня и разбросанных тут и там бедуинских убогих времянок, рядом с которыми обязательно припарковано несколько дорогих внедорожников, да еще чувствительной головной боли: ведь мы уже ниже уровня моря, и на нас давят нависающие над дорогой беззубые десны пустыни, нас не встречает ничто. Далекий огрызок неба, будто потерянный в пыли драгоценный камень, все умалывается и умалывается, и вот уже его не достать взглядом; в этой точке мира он менее всего досягаем.

На одной из технических остановок мы прогуливаемся по паркингу, осматриваем небольшой арабский отель. Персонал трудится, частью не обращая на нас внимания, но в лицах некоторых легко читается определенное чувство: искрящееся, захлестывающее, страшное; чувство, которое я легко узнаю и к которому давно здесь привык — ненависть. «Давай вернемся в автобус», — моей чуткой жене тоже становится неуютно. И мы, чуть не птясь, возвращаемся на свои места и взираем уже сквозь ненадежные стекла автобуса на этот враждебный нам мир.

Эта поездка было последнее, что мы делали с женой вместе.

Она уезжать не хотела, долго решалась. Бегала к экстрасенсам, колдунам, ясновидящим, часами просиживала в астрологической программе, разбирая квадратуры и квинконсы, пытаюсь прочесть будущее или ловя благоприятный момент. На меня почти не обращала внимания, изредка готовила спешную простую еду; ее едва хватало на то, чтобы произнести «Добрый вечер», когда я возвращался с работы. Я же увлекся историей ЦАДАЛа — армии Южного Ливана и ливанскими фалангистами. Приходя утром в офис, я для виду открывал годовой отчет, давно мною написанный, притворялся, что вношу туда необходимые исправления, якобы считал часы, припоминал сделанные за год проекты, которых было совсем немного. И коллеги меня не трогали: годовой отчет — это важно. На деле же шерстил Википедию, тематические сайты, по большей части англоязычные, вникал в нюансы отношений шиитов, маронитов и друзов, восхищался Саадом Хаддадом. Мало что понимая в событиях того времени, я вдохновлялся драмой этих людей, которые, храня верность своим идеям, невольно становились предателями родины; родина, такая, какая она была, становилась для них менее важной, чем вера, чем собственная цельность и значимость. В конечном счете большинство из них под угрозой смерти родину и оставили, поселившись по другую сторону «линии прекращения огня». Разделенные навсегда со своими родственниками, обманутые и приютившим их государством, после ряда протестов они превратились в обычных граждан, тяжело трудящихся и с неутолимой тоской в глазах. Позже я нередко их видел: городок, где располагалось мое предприятие, служил столицей этим изгнанникам — в трех километрах пролегалла граница с Ливаном. Днем и ночью из окон своих дешевых съемных квартир они могли наблюдать свою бывшую родину.

Наконец после ряда визитов к самому дорогому и знаменитому психотерапевту в городе жена собралась с духом.

— Он сказал, что если я не уеду, то сойду с ума. И ни в каких изменениях нет ничего ужасного. Если жизнь предлагает тебе иные пути, надо благодарить и принять. И не выживать, — резюмировала она то, что сказал ей врач. — Заказываем билеты.

Начались прощальные встречи с друзьями, нервные сборы, уборки, снятия с учетов, интенсивная переписка с принимающей стороной, ошибки в билетах, финальная чистка пространства и, спустя слезы, бессонницу — регистрации, перелеты, двенадцатичасовая очередь к чиновнику в аэропорту, новый паспорт. Денежного пособия на первое время едва хватало, но работать мы не спешили, торопились же знакомиться со страной, с новыми людьми, условиями, отношениями, языком. Но язык ей быстро наскучил, она стала чаще оставаться дома, курила задумчиво на балконе, ездила по окрестностям. Ее манил древний Акко, в котором я чувствовал себя неудобно, арабский приторный колорит. Меня же компании оборванной молодежи, пьяные на полу в магазинах, агрессивные голодранцы мысленно возвращали в те места, которые я совсем недавно покинул.

Но однажды и я с ней поехал, она меня позвала, мы гуляли по старому городу, зашли в знаменитый еврейский ресторан (его хозяин погибнет во время волнений девятнадцатого года), но в продолжение всей прогулки я не мог отвязаться от ощущения, что я ей мешаю, хотя она беспрестанно повторяла как заведенная, что она рада, что я сейчас с ней. Возможно, в действительности она хотела побыть с ее любимым городом наедине, так я решил. И больше с нею не ездил.

Она всегда была где-то, я стал привыкать к ее отсутствию, к тому, что она не со мной. А спустя пару недель, вечером, гуляя по берегу моря, я увидел ее в кафе с маленьким темноволосым мужчиной. И они тоже меня увидели. Кажется, что-то мне прокричали. Я же, отвернувшись, прошел мимо.

Дома она объяснила, что совершенно случайно встретила человека на набережной, он сам подошел, пригласил в кафе, это произошло месяц назад. Он готовит изумительный кофе, добавляя в него секретный ингредиент из крохотной колбы с орнаментом, что-то совершенно восточное. После этого так странно и удивительно кружится голова... Этого человека, она так сказала, она искала всю жизнь. И с ним ей не придется работать, ведь она не выдержит двенадцать часов на фабрике шесть дней в неделю, и мытье подъездов, и уход за тяжелобольными тоже не для нее, ни для ее спины, ни для ее давления.

— Он сам хотя бы работает? — с сомнением спросил я ее.

— Он инженер на одном из заводов, но также трудится по двенадцать часов, жизнь у него нелегкая.

— Откуда он, вообще, взялся? Марокканец?

— Он ливанец. Офицер ЦАДАЛа.

Я даже не удивился. Именно этого и следовало ожидать.

В шесть пятнадцать развозка забирает рабочих в назначенном месте и к шести сорока привозит их на завод, рабочий день начинается в семь утра. До семи необходимо отбиться на проходной, приложив палец или магнитный пропуск к считывателю, если опоздаешь хоть на минуту, помимо вычета из зарплаты тебе грозит разговор с суровым начальством. То же и в конце дня: ты обязан находиться на рабочем месте до семи вечера, если отобьешься раньше семи, у тебя отнимают деньги. Но большинство рабочих поневоле отбивается раньше, так специально подстроено: часы в цеху (махлака) показывают одно время, а на проходной другое, на несколько минут рань-

ше; по времени в махлаке ты уходишь вовремя, но по времени, которое идет в зачет и записывается в программу, ты теряешь каждый раз несколько минут, то есть теряешь в зарплате. Утром без трех минут семь ты обязан находиться в рабочей одежде, в шапочке и перчатках у машины, полностью готовый к работе. И ровно в семь ты приступаешь. Строго говоря, рабочая смена длится не двенадцать часов, а десять часов сорок пять минут, один час и пятнадцать минут — это перерывы, которые не оплачиваются. Полчаса на обед и три перерыва по пятнадцать минут каждый. За полгода до моего прихода на предприятие рабочая смена составляла семнадцать часов, включая перерывы, с семи утра до двенадцати ночи. К часу ночи люди возвращались домой, наскоро мылись, на заводе отсутствовал душ, как и раздевалка, как и место для отдыха, и на следующее утро снова шли на работу, на семнадцатичасовую смену. Вследствие ряда проверок, жалоб, скандалов руководству пришлось пойти на уступки, и количество часов сократили. Условия стали более мягкими. Выход в туалет только с разрешения старшего по машине, на входе в туалет также работает считыватель, чтобы пройти помочиться, ты обязан приложить палец, иначе дверь не откроется. Время, проведенное в туалете, идет тебе в минус, оно не будет оплачено.

Когда есть большие заказы, предприятие открывает ночную смену; оплата за сверхурочные значительно выше, и за попадание в ночь идет нешуточная борьба между рабочими: кляузы, подсижки, доносы — все идет в ход, лишь бы получить заветное назначение в смену.

Первая перемена в девять тридцать утра. Курение разрешено, и большинство бежит покурить в специально отведенный уголок для курящих. На заводе установлены неплохие фильтры для воды, и те, кто не нуждается в никотине, с пластиковыми бутылками выстраиваются в очередь к кранам в столовой набрать воду для дома, поскольку водопроводную жигу пить невозможно, от нее першит в горле, а бегать каждый раз в магазин за бутилированной элементарно некогда. Время обеда постоянно меняется в зависимости от планов дирекции; если на завод приходит делегация иностранных клиентов, коллеги по отрасли или чиновники обед отменяют вовсе. Столовая маленькая, места всем не хватает; отстояв в очереди, ты спешно хватаешь не глядя все, что попадает под руку: салаты, рис, жидкий супчик — и бежишь занять место, на ходу начиная заглатывать пищу: в оставшиеся пятнадцать минут надо успеть закончить с обедом. В пятичасовой перерыв каждому выдают кусок белой булки, иногда начиненный колбасой или холодной мятой сосиской, — это еда на вечер. В цеху невообразимый грохот и гвалт, кто себя бережет, затыкает уши наушниками, но в таком случае есть риск не услышать приказы начальства и нарваться на неприятности. Во время работы предпочтительнее стоять: старшие в махлаке не любят, когда рабочие трудятся сидя, им начинает казаться, что люди ничем не заняты. Сидеть безбоязненно может только привилегированный класс — ахраи. Это настолько серьезный вопрос, что проблема решалась на государственном уровне, и рабочим все же законодательно разрешили сидеть в том случае, если работа может выполняться сидя без потерь для рабочего графика. Однако такая возможность выпадает нечасто, большинство видов заводской деятельности предполагает активное движение у машины, да и стульев в махлаке практически нет, дирекция все откладывает их покупку. Зато яростный бригадир Саша расхаживает в джинсах ультранизкой посадки, демонстрируя всему заводу свой жирный зад — яркая деталь доминирования. Ему можно.

Сама работа несложная, но делать ее надо быстро, машины настроены на максимальную скорость, которую сами едва выдерживают из-за древности и нещадной круглосуточной эксплуатации. Но скорость важнее всего, качество не имеет значения: бутылки падают на грязные, затоптанные полы, которые не моют неделями, тут же возвра-

щаются назад на конвейер и уходят в цех упаковки, откуда разлетаются по всему миру за баснословные деньги. Хомер бурлит и течет на пол, грязь попадает в хомер, стены и потолки в плесени, которую каким-то чудесным образом не замечают многочисленные визитеры, посещающие завод в поиске выгодного контракта. Как не замечают и проверяющие, регулярно инспектирующие предприятие, такое открытое, такое щедрое на подарки. Да и разве поднимется у кого-то рука хоть на неделю закрыть такой важный завод, участвующий в столь необходимых социальных программах: летняя работа для школьников, у детей укороченный восьмичасовой рабочий день, работа для пенсионеров, для репатриантов, половину зарплаты которым оплачивает министерство. А инклюзивность? Люди с особенностями развития также при деле: разливают, бегают, настраивают, крутят. Рабочий день у них, как и у школьников, укороченный, восьмичасовой, но и это им дается непросто: нескольких человек уволили за агрессию, другим повысили долю транквилизаторов на тридцать процентов, иначе их не удалось встроить в процесс. И теперь они в норме, даже здороваются иногда.

На каруселях трудится арабская молодежь, предоставляемая заводу подрядчиками (кабланами). Каблан ездит по глухим деревням и собирает бригады, которые вкалывают за зарплату намного меньше дозволенного, а разбойничий процент от их денег забирает себе каблан. Когда раз в год на большой праздник из Соединенных Штатов завод посещает хозяин, арабов прячут: хозяин не одобрил бы их присутствие.

В махлаке звучит арабская, русская, украинская, ивритская, французская, португальская, английская, испанская речь. Военные, политические конфликты, периодически возникающие в странах исхода, дают о себе знать и здесь: люди спорят, негодуют, ругаются. Но звучит свисток ахраи, и все как один, забыв о конфликтах, встают у машины, настраиваясь на долгий рабочий день. Евреи вкалывают бок о бок с арабами, русский поклонник Путина часто добрый товарищ украинскому националисту. Экономика стирает политические различия, потребность выжить выходит на первый план.

В ходу и языки Индии: куки, мизо. Индийцы — покорные люди, довольные тем, что им удалось сбежать от бесконечных племенных распрей на родине. На заводе их все устраивает, им выделен сегмент цеха, где разливается масло, они и копошатся там круглосуточно в две смены, не вникая в работу других машин. В два тридцать каждого дня они все как один топают на молитву в синагогу при заводе, где в полурасслабленном состоянии проводит свой недолгий рабочий день кучка религиозных евреев, человек пятьдесят, куря дорогие сигареты и споря об истине. Индийцы для них свои: правильные, порядочные. После некоторых бюрократических трюков их и приписали к своим несколько лет назад, по волшебству отыскав у них иудейские корни.

Мое описание рабочего дня попало в газеты, обрело неожиданный резонанс. Была надежда, что резонанс ограничится русскочитающей публикой, но надежда не оправдалась. Спустя пару дней после публикации меня попросили пройти в дирекцию. Перед директором лежала в развернутом виде газета с моей публикацией, рядом с газетой на листочке мелкими буквами красовался перевод моего текста на иврит. Директор был, очевидно, рассержен.

— Что это? — раздраженно спросил он, пододвинув мне мой рассказ заодно с переводом.

— Это мое произведение, — неуверенно проговорил я, толком не зная, что отвечать. — Я же писатель в своей стране, ты знаешь. Вот, получается, написал...

— Что ты написал такое? — обычно корректный директор начал понемногу вскипать. — Это же прямой оговор, ложь от первого до последнего слова. И что подумают наши клиенты, конкуренты? Ты понимаешь, что ты можешь сорвать нам контракты,

лишить нас денег? А это и твои деньги тоже, ты понимаешь, что ты плюнул в колодец, из которого и сам тоже пьешь? Ведь, в конце концов, мы вас кормим.

Я молчал. В некотором смысле он прав, так мне казалось.

— Честно скажу, мне рекомендуют тебя уволить. Но уволить за такое — это все равно что не предпринять ничего, простить. А мы здесь ничего не прощаем, понимаешь? Это бизнес, бизнес не знает прощения, симпатий и антипатий. Эмпатий. Ты понимаешь меня?

Конечно, я его понимал. Мое описание рабочего дня как раз и сообщало о том, что бизнесу чуждо все человеческое. Похоже, он правильно понял суть моего рассказа.

— Вечером у нас будет совет, мы решим, что с тобой делать. А пока ступай, работай как следует.

Меня не уволили, просто избавиться от меня значило бы признать мою правоту. Руководство поступило хитрее. Как мне сообщил один из приближенных к дирекции бригадиров, на совете было решено сократить первый рабочий день на один час и периодически давать второй выходной в неделю. План был прост: рабочие, закабаленные долгами, кредитами, высокой квартирной арендой, жилищным налогом, детьми, обучение которых, начиная с детского сада, обязательного в этой стране с двух лет, необходимо оплачивать, как необходимо оплачивать их кружки, увлечения, учебники, репетиторов, ведь школьный курс здесь не дает ничего, в конце концов сами взбунтуются и попросят вернуть старое рабочее расписание, попутно возненавидев невольного виновника всех изменений — меня. Что ж, начальство прекрасно знало людей: в этом современном вавилонском столпотворении языков объединяющим фактором были деньги, деньги — источник всех бед и радостей, деньги — главная тема всех разговоров не только среди коллег по работе, бизнесу, но и среди соседей, в семье, в романтических беседах влюбленных, в искусствоведческих диспутах. Тем не менее известие о сокращении на час первого рабочего дня и о выходном в ближайшую пятницу рабочие встретили шквалом восторгов. Здоровые матерые мужики прыгали, как малые дети, горланили, аплодировали, хлопали меня по плечу, шутливо благодарили:

— Это все ты, — кричали они, — пригодилась и нам твоя чертова литература.

Были и недовольные, но в этой буре, захватившей практически весь завод, они предпочли не подавать голос.

Впоследствии, конечно, все улеглось, прошли месяцы, и пятницы снова стали рабочими, но тот заветный, отвоеванный у дирекции час остался за нами. Еще один час в числе и тех немногих, дарованных нам на сон, на общение с детьми и любимыми. Час для самих себя. Час свободы.

Я в ночной смене, первый раз за три месяца, я рад, мне повезло. За меня попросили товарищи, им удобно со мной работать. Ночью в цеху гораздо меньше народа, нет такого движения, как днем, нет начальства. Можно тихонько заглянуть в телефон, включить любимую песню. Работа начинается бодро, но к трем часам ночи начинает пошатываться, всю смену я работаю стоя; безжалостно клонит в сон. Днем едва успеваешь восстановиться, три-четыре часа нервной дремоты, перекус на скорую руку и беготня по конторам: не хочется упустить возможность решить свои бытовые дела, коль представился случай: банк, служба социального страхования, мэрия, магазины, больница. В обычном режиме все это недоступно: когда я возвращаюсь после работы, даже продовольственные закрыты, не говоря уже о мисрадах. С семи вечера я снова на смене. К концу недели ночных ноги и руки еле шевелятся, трещит спина, гудит голова. И все же я рад: атмосфера на предприятии почти домашняя, люди ближе, разгово-

ры теплее. Текут рассказы из прошлой жизни, как правило, лихой и удачливой, вспоминаются семейные анекдоты, заграничные поездки, которые изредка нам позволено совершать.

В четыре часа утра сквозь гул и туман в сознании прорывается голос Ишая, повествующего о Париже (он был там однажды):

— Париж — это город мечты, — сообщает он, — там рай. Там Русью пахнет: Севастопольский бульвар, бульвар Ленина — все, как у нас в Краматорске.

Голос его дрожит, кажется, он готов заплакать.

Я тоже бывал в Париже и прекрасно помню смесь восторга и удрученности, охватившую меня при виде состояния, в котором находится этот великий город.

— Королевство Рамы Десятого — вот настоящий рай, — вступает в дискуссию инженер из Хабаровска, как и я, едва держащийся на ногах. — Там свобода, там ты чувствуешь себя человеком. Только лететь туда очень дорого.

— Дорога в рай стоит дорого, — шутит Ишай.

— Где это? — почти не соображая, мямлю я.

Инженер что-то отвечает, я вижу, губы его шевелятся, но не разбираю слов. Кажется, я в обмороке. Но продолжаю работать.

И вот я здесь, в королевстве Рамы Десятого.

— Ты повозишь меня по стране, по реальной стране не для туристов? — попросил я Титай.

Она кивнула. Мне изрядно осточертели ее кивки, и я не выдержал:

— Послушай, я купил тебя не только для секса, но и как полноценную спутницу, для общения. Или ты начнешь со мной разговаривать, или я верну тебя обратно домой.

Кажется, она испугалась.

— Конечно, мой господин, я буду с тобой разговаривать.

— Или мой английский так плох?

— Нет, не плох. Не так и плох, — уточнила она, улыбнувшись.

— Так тем более мы должны говорить, чтобы я хоть немного у тебя поучился.

Она по привычке кивнула, но тут же добавила:

— Да, мой господин, конечно, я тебя научу.

— И мне не нравится то, что ты называешь меня «мой господин».

— Как мне называть тебя, мой господин?

Я подумал минуту.

— Зови меня «мой любимый». Посмотрим, что из этого выйдет.

Титай странно на меня посмотрела, но ничего не ответила.

— Ты согласна звать меня «мой любимый»?

— Я попробую, мой господин. Мой любимый.

Я не вожу машину, но у Титай были водительские права и, добравшись до столицы страны Крунгтепа на самолете, мы взяли в аренду старенький, но еще дышащий японский внедорожник. Конечно, Титай сначала отвезла меня к Большому дворцу на острове Раттанакосин, показала Ват-Пхо и Ват-Ратчанадда, а потом мы покинули город и погрузились в местную дремучую нищету: шаткие домики на воде, грязные худые детишки, дешевые девки с нечесаными лохмами, одетые в разноцветные платья, крикливые наглые обезьяны.

В одном из ресторанов в недрах страны я услышал знакомую речь. Мужчина делал заказ для себя и своей подруги, перемежая свой довольно ловкий английский ивритскими фразеологизмами. Я подошел поприветствовать земляка. Он заметно обрадовался белому человеку в малаккской глуши, да еще и пусть и неважно, но говоряще-

му на иврите. Мы с Титай подсели к нему за столик. Он также купил себе местную девушку, он ее церемонно представил, но и в этот раз разобрать ее имя оказалось мне не под силу. В общем, у него была своя Титай, и сейчас они направлялись в ее деревню, он собирался помочь ей с какими-то бытовыми проблемами. Звали его Давид.

— Давно ты в стране, Давид? — спросил я.

— Уже больше года. И возвращаться не думаю, — поспешил он упредить мой следующий вопрос. — Даже не спрашивай почему. Ты и сам знаешь. Если из ада попадаешь в рай, — он погладил свою Титай по плечу, — обратно никому не захочется. По крайней мере, добровольно.

— А деньги, на что ты живешь здесь? И вся нищета вот эта? — я развел руки, будто охватывая всю страну, всю ее некурортную зону.

— А деньги есть. Есть маленький бизнес. Но ты же понимаешь, что одна наша зарплата там — это год жизни здесь. Так что пока живем потихоньку. А бедность... Я же ее не вижу, мне нет до этого никакого дела. Сейчас мы впервые выбрались из нашей квартирки в Патайе, и то по делу. Решим проблему и сразу назад. И девочка моя всегда со мной, это важно. — Он приобнял свою Титай. Я посмотрел на свою. Она сидела, наклонив голову, о чем-то задумавшись, вслушиваясь в незнакомый язык.

— Нас же много таких здесь, ты в курсе? Целая колония. И здесь, и в соседних странах. Тысячи человек. Мы иногда собираемся на праздники и шاباتы, я оставлю тебе контакты, чтобы и ты приходил. — Он начал писать на листике, вырванном из блокнота, номера телефонов, имена, адреса, и-мейлы. Но у меня уже пропал к нему интерес, я знал, что никогда не приду на их сборища. Мне захотелось домой, в мой огромный номер, подальше от этой дикой убогой жизни, поближе к ярким, сочным и пряным кушаньям, что готовила мне моя собственная Титай, к ее необыкновенным ласкам. Но я знал, что Титай хочет показать мне родную деревню, познакомить с семьей. Я не мог и не хотел разрушать ее планы.

— Мы заедем к тебе и сразу назад, хорошо? — спросил я ее, как только мы распрощались с Давидом и его пассией.

— Как ты скажешь, любимый.

Деревня ее не отличалась ничем особенным: множество домов на бетонных сваях, у одного из которых нас встречал человек, продавший мне так недорого девушку, — отец Титай. Вокруг него сгрудились дети: множество деток, я пытался их сосчитать, но они постоянно перемещались, и мне так и не удалось это сделать. Худенькие, любопытные, глазастые детки, братья и сестры Титай. Одна девочка была повыше других, очевидно старшая, девочка с большими, немного грустными глазами. Титай, указав на нее взглядом, выразительно на меня посмотрела.

— Моя сестра.

— ?

— Скоро папа ее выставит на продажу.

— Но она же маленькая совсем, — удивился я, — сколько ей лет, десять, двенадцать?

— Нет, не маленькая. Десять лет уже можно. Она и сама не против помочь семье, без этого они пропадут.

И действительно, внутри дома бедность невероятная. Скопище вещей, по большей части поломанных, напоминало современную свалку, а не традиционный народный быт. Разобранный телевизор, ржавый, грохочущий холодильник, хромоу стул на двух ножках, спинкой прикрепленный к стене... Груды хламья по углам, тряпки, старые газеты на тайском и на английском.

Хозяева хотели оставить нас ночевать, но после порции липкого риса, холодного куска рыбы, залитого чем-то острым, я отвел Титай в сторону.

— Давай вернемся, — попросил я ее, — мне нравится здесь, но я так соскучился по тебе, — кажется, в этой стране я начинал осваивать азы политеса. Конечно, я скучал по телу Титай, по ее любви, но ее родной дом, дом ее отца наводил на меня ужас.

Она тихо кивнула и пошла заводить внедорожник.

По утрам мы ходили с Титай на пляж, я подарил ей целый ворох одежды: купальники, шорты, шляпы, накидки. Она радовалась всему, как ребенок, подолгу красовалась перед зеркалом в номере, примеряя то одно, то другое. В наших бесконечных блужданиях по округе мы открыли секретную тропу к Высоким скалам, тайному месту, куда почти никогда не забредали туристы да и местные не показывались. Целыми днями мы проводили время, бултыхаясь в прозрачной, ослепительно-синей морской воде, ласкали друг друга. Она научила меня невиданной нежности, неизвестной торопливой европейской культуре, обучила глубокоим, трепетным, мистическим поцелуям, от которых пробуждалось все тело, раскрывались глаза, изменялось дыхание. А вечерами она читала мне вслух по-английски, тренируя мое восприятие, сначала свою виетнамскую классику, Рамайну, в которой я никак не мог разобраться, потом перешла на тексты попроще, Берджесса с его романами о Малакке, других немудреных британцев.

Месяц подходил к концу. Близились расставание. Титай должна была вернуться в деревню к родителям со второй половиной денег. Я ждал и боялся этого дня: жить теперь без Титай мне не представлялось возможным, но вдруг она захочет навсегда остаться со мной? Вдруг она действительно меня любит? Какое это было бы счастье.

По истечении месяца в назначенный день я отсчитал ей положенное, прибавив приличный процент. Она благодарно на меня посмотрела.

— Мой любимый, — попросила она меня, уже упаковав чемодан, — можно я возьму немного твоих шампуней, отвезу их в деревню? Они ведь там ничего такого не видели. Я вынул из чемодана все, какие оставались у меня «тиким», и отдал ей.

— Тебя проводить?

Она отрицательно мотнула головкой.

— Ты вернешься?

Она долго на меня посмотрела и, ничего не ответив, скрылась за дверью.

В одиночестве я ходил на наш пляж, поднимался к Высоким скалам, плавал, грустил. Я скучал по Титай, по ее теплу, по ее улыбке, по ее неиссякаемой безропотной доброте.

Однажды вечером, спустя неделю после ее отъезда, я возвратился с моря и застал ее спящей у себя в комнате, на ресепшене ей выдали ключ. Уставшая, похудевшая, почти без вещей. Я не стал ее тормошить, хотя мне так хотелось снова услышать ее ласковый голос. Я только прилег с нею рядом, обнял ее так нежно, как только мог, и моментально заснул. «Мое чудо снова со мной, — думал я, засыпая, — сказка еще не закончена».

Утром Титай, предварительно занявшись со мною любовью в какой-то чуждой, деловитой манере, попросила меня так, как только она одна умела просить:

— Мой господин, — сказала она, стоя передо мной на коленях, словно я был королем этой страны, — мой любимый, я отдала отцу все, что ты дал мне, включая одежду, косметику, даже купальники. У меня еще есть сестры, они подрастают, им все это пригодится. Теперь у меня ничего нет. И никого нет, кроме тебя, мой любимый, мой господин, мой хозяин. Увези меня отсюда, пожалуйста, я не могу больше здесь находиться, не могу видеть этих людей, так убого живущих, не могу видеть своих сестер, которые так же, как и я, будут проданы за гроши еще и неизвестно кому. За старшей, — она

назвала имя, — уже приходили из фирмы, торгующей девушками, и отец согласился на их условия. Через месяц ее заберут. Это мне повезло, о господин моего тела и моего сердца, что ты такой великодушный и добрый, и я тебя полюбила всей душой и навеки. Но я не могу больше здесь оставаться, я хочу в твой, другой мир, мир дорогих вещей, мир, в котором делают вот такие удивительные шампуни, — она извлекла из кармана маленький пробник в пятьдесят миллилитров. — Один я сохранила на память. Послушай меня, мой любимый, снизойди к моей просьбе, прошу тебя, мой господин.

Я смотрел на нее добрых минут пятнадцать. Она так и стояла передо мной на коленях, их знаменитый моп крап, склонив голову, терпеливо ожидая моего решения. Маленькая, смуглая, волшебная девочка. Любимая моя девочка, моя единственная любовь навсегда. Я понял, что никогда не сделаю ей ничего дурного, пожертвую ради нее жизнью, деньгами, свободой, лишь бы она оставалась такой же чистой, такой же прекрасной, какой она была в тот миг, когда я ее встретил на пыльной стоянке возле отеля.

— Хорошо, — наконец вымолвил я, — пусть будет так, как ты хочешь.

Она подняла изящную, трепетную головку. В глазах у нее стояли слезы, слезы прежде ей незнакомого чувства — ликующей радости.

— О, благодарю тебя, мой любимый, мой господин, — она сложила руки передо мной, как в молитве.

— Только пока никому ничего не сообщай, я подумаю, как это лучше сделать. Лучше позаботиться о том, что тебе взять с собой в дорогу.

Она вскочила на ноги и жарко меня обняла, покрыла поцелуями мою шею, грудь и живот.

— Ну все, все, — успокаивал я ее, — все решилось, не о чем больше тревожиться. Теперь надо все как следует рассчитать и насладиться нашими последними деньками в этом чудесном месте.

Титай послушно оторвалась от меня и направилась к плите готовить еду на вечер. Я же, налив себе виски, вышел на балкон, уселся в плетеное кресло, окинул взглядом бескрайнее, немое, равнодушное и прекрасное море. Ночью, после страстной, но немного отстраненной любви, когда Титай уже крепко спала, я положил подушку ей на лицо и держал, пока она не утихла. В этот раз она вырывалась по-настоящему, наконец, она все же хотела жить. Завернув ее маленький труп в одеяло, связав одеяло узлом, закинув этот импровизированный мешок на спину, я, дивясь невыразимой легкости своей ноши, такой крохотной, такой невесомой была Титай, направился ночью к Высоким скалам, откуда сбросил тело моей любимой в теплое равнодушное море. Одеяло я оставил себе, оно хранило аромат этой волшебной девочки. К тому же его надо было вернуть в отель.

Кажется, мой ночной вояж никто не заметил, отель мой располагался в стороне от общей курортной зоны, а выходил я через запасной выход. Впрочем, мне было все равно: если утром за мной приедет полиция, так тому и быть, жизнь Титай спасена, а моя жизнь без нее не имела ни малейшего смысла. В номере я бросился ничком на кровать и проспал без снов до полудня. Проснувшись, налил себе виски, пообедал остатками еды, что вечером готовила мне Титай, и снова бросился в сон. На следующее утро я снова отхлебнул виски, заказал себе еду в номер, поскольку блюда, приготовленные руками моей любимой, были мной уже съедены. Так протянулась неделя. Выходить не хотелось, не хотелось встречать людей, в особенности туристов, вежливых, равнодушно-приветливых и холодных. Уборку в номере я каждый раз отменял, не боясь, что это вызовет подозрения. Скоро приедет полиция, и какая разница, убрано у меня в комнате или нет.

Но полиция все не ехала, а вместо нее в номер постучала администратор. Я подал голос, чтоб ее успокоить, попросил ее уйти, заявив, что у меня все хорошо, но она проявила редкую для этой страны настойчивость. Мутный, всклокоченный, я отворил дверь. На пороге стояла девушка с ресепшена, землячка моей Титай.

— Прошу прощения, мой господин, все ли у вас в порядке? — на ее лице читалось неподдельное беспокойство.

Я кивнул.

— Можно я загляну?

Я отступил в сторону, позволяя ей проскользнуть в номер: коль уж пришла, пусть заходит — это ее работа, в конце концов. Она огляделась.

— Вы уверены, что не хотите, чтоб у вас прибрались?

— Уверен, — мотнул головою я.

— Хорошо, — мягко проговорила девчонка, — если у вас все в порядке и вы отказываетесь от уборки, тогда я пойду.

Я кивнул. На выходе она обернулась.

— Господин, — позвала она меня тихо, — не надо так убиваться.

Я недоуменно уставился на нее.

— Да, да, я все понимаю, — она поспешила добавить, — когда фаранг растается с тайкой, ему всегда очень больно, он очень переживает. Но не стоит переживать, в нашей стране еще много хороших девушек.

— Откуда ты знаешь, что я расстался с Титай?

— Конечно, знаю. Я же вам говорила, что мы из одной деревни, у меня там родственники, и связь мы поддерживаем. Титай не вернется к вам больше, она бросила свою семью и сбежала в Америку, так рассказал нам ее отец. Я знаю, что она заходила к вам попрощаться, я сама выдавала ей ключ, но потом я видела ее с чемоданом на автобусной остановке. Она не вернется к вам, господин. Не надо так тосковать. Мы в нашей стране не грустим, мы говорим слово «санук», что значит «радуясь», а все остальное «май пен рай».

Я остался один в развороченном номере, напоминавшем теперь жилище обычного тайца, жилище отца Титай. Отставил в сторону недопитое виски, в голове гремело, мысли путались, громоздясь друг на друга. Титай, ее деревня, отец, Америка — где в этом перечне я, где мое место, что мне со всем этим делать? В памяти всплыло грустное лицо маленькой девочки, сестры моей мертвой возлюбленной. «Санук» и «май пен рай» не совсем подходили к ее глубоким, вдумчивым, печальным глазам. Титай хотела ей лучшей судьбы, доброго господина, хозяина. Титай за нее беспокоилась. Беспокойство Титай передалось и мне. Я засуетился, занервничал. В ближайшее время ее продадут, и, возможно, она канет бесследно, исчезнет в нашем жестоком денежном мире. Я куплю ее и спасу, воспитаю, как дочь, сохраню в ней доброго доверчивого ребенка. Это будет мой последний подарок Титай, самый значительный, самый важный.

Я быстро собрал вещи, расплатился за номер, вызвал такси в аэропорт, сообщив девушке на ресепшене, что возвращаюсь на родину — неотложное дело.

— Бизнес? — с любопытством поинтересовалась она.

— Бизнес, — внутренне я усмехнулся. Разве ей объяснить, что бизнес в моей стране кланового капитализма просто так не откроешь.

— Возвращайтесь к нам поскорее, вы у нас самый дорогой клиент.

— Я постараюсь, — обещал я, зная, что не сдержу обещание. Ожидая такси, как всегда перед важным событием или решением, я потрогал в нагрудном кармане бумажку, заветный лотерейный билет, один из полутора миллионов, счастливый.

— Все будет хорошо, — пожелала мне в дорогу девчонка.

— Я знаю, — улыбнулся я ей и направился к подъехавшей к отелю машине.

На полпути в аэропорт нам встретился автомобиль полиции, он ковылял в сторону моего отеля, как сонный тропический жук. Впрочем, проблесковый маячок исправно посверкивал.

— Что случилось, не знаете? — спросил я водителя.

— Ищут кого-то, — равнодушно ответил таец.

— Кого же, известно?

— Простите, мистер, не имею понятия. Они вечно кого-то ищут, такова их работа.

Я подумал минуту.

— Послушай, друг, — обратился я снова к шоферу, — я только что получил эсэмэс, что мой рейс отменен. Но у меня очень срочное дело. Ты можешь меня отвезти в... — я назвал ближайший крупный город.

Парень уставился на меня изумленно.

— Но это же почти пятьсот километров.

— Неважно. Я заплачу.

— Конечно, мой господин, без проблем. Бизнес?

— Бизнес.

Он развернул машину, и мы поехали в ночь, вдоль синего равнодушного моря. Название деревни Титай было единственным, что мне удалось запомнить из всех трудновыговариваемых названий в этой стране. Так или иначе, я найду эту крохотную деревеньку, найду маленькую хрупкую девушку с печальным взглядом, найду. А меня не найдут.